Александр БАЛТИН

Славные «Сказы Куликова поля»

О новой книге Андрея Шацкова

Куликово поле…

Тут даже звуковые вибрации особые: что уж метафизическое и историческое содержание – для русского сердца, русской души…

«Сказы Куликова поля» – новая книга Андрея Щацкова – открываются прозаической частью: поэт делится вещим сном, которому веришь, ибо Богородица, открывшаяся сновидцу, словно показывает реющие стяги и хоругви истины.

Хроника истории, разворачивающаяся в стихах, играет световыми лучами, в которые вплетаются траурные волокна…

Впрочем, тогдашние люди, вероятно, смерть воспринимали иначе: но – помимо ясного и высокого звука стихов – книга Шацкова интересна ещё и современным взглядом на прошлую реальность: современным, но густо пропущенным через сложные фильтры истории.

Кому и сколько остаётся днесь?
Опять ветра заводят перебранку,
Принёсшие с Востока злую весть
И с запада – гнилую лихоманку.
Я думаю: «Чудны твои дела,
Господь, пославший эту завируху»,
Но мы дружиной сядем у стола
И ножиком источенным краюху
Развалим…

Плотный стих, насыщенный разнообразием подробностей: и каждое существительное так мощно вложено в ячейку смысла, что не сдвинуть его; и строки даны столь густо, что никакое лезвие критической мысли не вгонишь между них.

И стих ярок: как хоругвь.

…Как осенний лес – всегда напоминающий огромный, естественный храм.

Возникает портрет Сергия Радонежского, прописанный острыми линиями строк и богатством словесных красок:

Сорит ветер ольховыми сёрьгами,
Матереет на озере гусь.
Вот и хлынула ордами, Сергие,
Беспросветная осень на Русь.

За распахнутой настежь околицей,
За Непрядвой и Красной Мечой,
Азиатская злобная конница
Табунится степной саранчой.

Время опасно: оно может стать гибельным для Руси, где мирно «матереет на озере гусь»; время опасно – и Сергию предстоит особая, духовная миссия.

Пейзаж Шацкова особенный: поэт словно сгущает цвета, предложенные миром, добиваясь предельной концентрации оных:

В разломе клубящихся туч,
Неистово красен и ярок,
Горит обжигающий луч –
Ушедшего лета огарок.

Но и обжигающий луч – вестник высокого света: значит, не реально, чтобы душу обратил в чёрный уголь.

Развернётся посвящение «Воинам России» – снова начнётся оно с пейзажа – поэт не может налюбоваться вариациями русских красок, вновь и вновь, мастерски отшлифовывая строки, влагая цветовые образы в стихи; оно продолжится беспокойством:

Какой заповедной строкой
Пришедшей на память молитвы,
Хоть на год продлить твой покой,
Чтоб силы достало для битвы?!

Оно завершается своеобразным поэтическим молитвословием:

И падать от стрел и от смут
За ПРАВДУ средь бранного дыма…
А павшие – утром придут,
Ведь мёртвые сраму не ймут!

Лишь просят включить в литию
Забытого воина имя.
И места всё меньше в строю
Осталось, меж нами и ними.

«Чтобы память попирала смерть» – название одной из частей книги: и сколь обоснованно оно!

Яхонты и перлы стихов высыпаются на страницы, и создаётся впечатление – жар-птица пронеслась, уронила перо и вспыхнули словесными самоцветами его остья.

Хроника переходит в «Майские баллады» – и тут напевы словно приобретают ажурность, не теряя одновременно силы.

Словесная архитектура Шацкова – от мощи старых соборов, взмывающих, кажется, в самые недра неба…

Чабрец – богородицкая травка – издаёт неповторимый аромат, словно связанный с тончайшими духовными веяниями. Чабрец как персонаж стиха наполняется особенным смыслом.

Воздух поэзии Андрея Шацкова высок: в нём славно дышится, и возможности слоёв оного воздуха обогащают душу, поднимая её ввысь: к сердцу неба, к тайне самой сокровенной молитвы.

Не знаю, у кого как, а у меня душа поёт, когда встречаюсь с чем-то подлинным, прочным и родным; мир наш утомительный и дольний преображается, становится пространственным и привлекательным, устремлённым в горнее, щедрым на искренность и открытия, манящим в подзабытые среди повседневной суеты и беготни прозрачные дали, которых так счастливо много было в нашем детстве и юности и которые с годами так обидно истончаются и убывают.

Что касается меня, то этим родным и подлинным зачастую является хорошая русская книга – она всегда мой добрый провожатый в ту действительность, что я когда-то прожил и которая теперь сокровенно живёт во мне, прирастая ежедневно новыми событиями, эпизодами и мгновениями. И книга, словно луч прожектора или пусть даже карманного фонарика, выхватывает из этой живой действительности то одну картину, обжигающую до мурашек по коже, то другую. А кроме этого она высвечивает и предлагает новые ассоциативные ряды и перспективы, рождает в душе естественное сопереживание и сопричастность.

Нечто подобное я пережил, читая книгу рассказов «Озеро вечности» Юрия Пахомова, увидевшую свет в столичном издательстве «Российский писатель» в 2021 году. О ней и поговорим. Автор, писатель старой национальной закваски, и вещи свои пестует и взращивает на ниве отечественной словесности, надёжной и благоухающей, впитавшей в себя за века немало полезного и целебного и уходящей корнями в русскую самобытность и уникальность.

В окололитературных кругах давно уже бытует расхожее мнение, или вернее – поветрие, что вот-де современная зарубежная словесность – это нечто фантастическое и недосягаемое, и даже больше – эдакий метафизический локомотив, который на полных парах неслыханных прежде смыслов, философских откровений и мистических погружений летит вперёд и тащит за собой всё передовое читающее и думающее человечество, а русская литература, да, ярко блеснула золотом в 19 веке, и едва ли не сразу же принялась неизбежно увядать и угасать, проваливаться в лучшем случае в банальную усреднённость и областничество. И теперь она якобы давно уже несёт на своём горбу тяжёлую торбу обречённости и разложения с ядовитой надписью: «неисправимо региональная». Причём сюда безжалостно вписывают даже таких мастеров и волшебников слова как Василий Белов и Валентин Распутин, Евгений Носов и Виктор Астафьев, Василий Шукшин и Юрий Бондарев и многих других наших соотечественников – все они якобы хронические провинциалы и в силу этого ну никак не дотягивают своим творчеством до всемирных масштабов и вселенских сверкающих вершин!

А мне вот кажется, что всё в этих пространствах происходит с точностью до наоборот. И русские несказанные вершины с некоторых пор преднамеренно окутаны туманом, если не сказать резче – смогом! – пренебрежения и предубеждения. Я еще захватил нашу самую читающую страну, когда за настоящей книгой гонялись, как нынче бегают за путёвками на какие-нибудь экзотические острова на экваторе.

Рассказ «Озеро вечности», что дал название книге, занимает всего-то пять страниц, но столько в нём пронзительной мистики и потаённой правды! Герой рассказа из своего сада через дебри попадает на берег неведомого озера, вдоль которого, ближе к воде и дальше вверх в рощи, одинокие костры, некоторые из них яркие, есть и с едва трепещущим в ночи пламенем. А у костров люди, многие в военной форме, как в старинной, так и в современной. И чем ярче огонь, тем народа вокруг него ютится больше.

Мужчина выходит к одному костру, а там греется его отец, не пришедший с войны, рядом сидят несколько родственников, тоже оставшихся на полях сражений. Выясняется, что все они потому так неприкаянны и бесприютны, что даже если места их гибели известны, то где лежат останки, родные не знают до сих пор.

Повествование ведётся доверительно, образы и пейзажи зримы, подробно и талантливо выписаны; всё узнаваемо, и вот уже читатель погружён в это действо, которое вроде бы абсолютно несовместимо с нашей реальностью, но как бы я хотел оказаться на месте героя рассказа! И встретить погибшего под Витебском при освобождении Белоруссии в декабре 43-го моего деда, алтайского хлебопашца Алексея Ильича Алькова, записанного как пропавший без вести. Нет у деда моего ни могилки, ни креста… Сколько бы я смог ему рассказать и сколько бы узнать от него о наших корнях и родове, ведь дед по свидетельству многих был еще тот книгочей! Да и даже просто бы погреться у костра рядышком с ним, прижавшись плечом и взяв его жилистую руку, ведь как говорила мама и её тётки, сёстры деда, я сильно похож на него не только обличьем, но и повадками. Я думаю, что к нам бы на минутку присел и Андрей Лукич Манаков, мой родной дядя, старший брат отца, павший в ожесточённых боях зимой 41-го под Волоколамском.

Почему только на минутку? Поясню. Больше пятидесяти лет искал могилу своего отца мой двоюродный брат Юрий Андреевич. Согласно имеющимся документам тот погиб при обороне Москвы вблизи села Ярополец, родового поместья Натальи Гончаровой, жены Пушкина, но в первый приезд брата точного места захоронения отца жители так и не смогли указать. И уже потерявший всякую надежду Юрий случайно наткнулся на одном из сайтов, посвящённых судьбам воинов Великой Отечественной, на скорбный список солдат и офицеров, погибших и нашедших последний приют в братской могиле в Яропольце. Там покоятся останки восьмисот военнослужащих и – только представьте себе! – лишь двести пятьдесят из них опознаны. На памятнике увековечены их фамилии и звания. И в том числе моего родного дяди. Брат, пока был в силе (ему сегодня больше 83-х лет), ездил туда поклониться памяти отца, отдать свой сыновний долг. И вот в эти-то мгновения, мне думается, и душа моего дяди наконец-то обрела покой.

И поэтому Андрей Лукич, если и подойдёт к таинственному костру, то лишь на одну-единственную минутку.

Сегодня в средствах массовой дезинформации часто можно встретить лукавые и бессовестные вбросы о том, что якобы для нынешней молодёжи Великая Отечественная война – это всё равно, что Куликовская битва или война 1812 года,

Юрий МАНАКОВ

Озеро вечности

Размышления о прозе Юрия Пахомова

поскольку она уже отдалена временем и потому подрастающему поколению не очень-то интересна. Зачем так беспардонно врать и одновременно принижать наших юных соотечественников? Молодёжь она ведь тоже разная.

Вспомните, как хотя бы три года назад по всей нашей стране, да уже и во многих уголках земного шара, проходили шествия «Бессмертного полка»? Сколько тысяч юных и молодых красивых одухотворённых лиц можно было увидеть в репортажах! Это-то, господа лгуны и мистификаторы, как соотносится с вашей брехнёй? Опять выдаёте вожделенное желаемое за неосуществимое действительное?

Россия – страна, да что там страна – цивилизация! – корневая, исконная, в каком-то смысле кондовая, то есть живица и целебные соки, кипящие и бурлящие в её стволовой сердцевине, не сцежены, не откачаны ни бесчисленными нашествиями и наскоками, ни прочими мороками, что немалые века уже норовят наслать на нас заклятые «партнёры» из-за бугра и здешние их прихлебатели. Всё ищут и ищут управу на нашу несговорчивость и непокорность, нежелание пристраиваться в их приготовленные для нас стойла на заднем дворе, выискивают неустойчивых; случается, что кое-кто сами, как мальчиши-плохиши, продают себя с потрохами за печеньки и карамельки. А потом лютуют против нас же предательски: и подло, и безоглядно.

Но, к счастью, подобной плесени и ржавчины на наших бескрайних просторах не так уж и много. Запас прочности в российском обществе еще далеко не иссяк; никуда не делись и как в прежние времена живут в народе отзывчивость, совестливость и жажда справедливости, только эти качества и сегодня никто из нас не выставляет напоказ, поскольку они родовые, сокровенные и глубинные; во многом благодаря этим качествам мы и состоялись как великий народ.

Показателен в этом отношении рассказ «Компонист». Вот как происходит в окрестностях стеклодувного завода знакомство пленного немца, «худого, низкорослого, в очках» и русского мальчишки: «Я не сразу понял, что немец насвистывает какую-то мелодию. Он стоял ко мне спиной, и тощие ноги слегка притоптывали, отбивая ритм. Надо же, свистун! Я пошарил глазами, нашёл обломок кирпича и, широко замахнувшись, запустил в ненавистную спину. Немец упал как подкошенный, упал лицом в песок, словно в спину ему угодила пуля…». Поверженный немец был так жалок, что пареньку, когда подошёл к нему поближе, вдруг стало так не по себе, что на другой день он «не пошёл на завод. Мать рассказала, что пленные возят из карьера песок, который идёт на изготовление стекла, что немцы все доходяги, бабы жалеют, подкармливают их – ничему нас, русских, война не научила…».

Прочитал эти строчки и вспомнилось, как моя мама рассказывала про примерно те же первые послевоенные годы, когда в нашем алтайском горняцком городке было много пленных немцев, но не только их, а и японцев. Про последних она говорила скупо: мол, эти ходили только строем и впереди всегда офицер – самурай со стеком, чтобы поддерживать ударами железную дисциплину. Я, рождённый в середине пятидесятых, хорошо помню, что это словечко «самурай» из уст взрослых земляков тогда звучало как ругательство.

А вот про немцев, которые работали в основном в шахтах, мать вспоминала чаще:

– До рудников их водили колонной. Оборванные, затравленные, посмотришь, и сердце сожмётся, люди ведь тоже. А как вспомню про отца, отпускает, и только горечь подступает. Да и погибло в забоях их немало, как и наших. Тогда обрушения и завалы под землёй часто случались.

По словам матери, вскоре настало послабление и кое-кому из них по какой-либо надобности было разрешено выходить из лагеря в город, немцы конечно же воспользовались этим, да так широко, что когда пришло время уезжать в свою Германию и их на вокзале погрузили в эшелоны, то провожать пришло немало молодых женщин.

– Кто-то и с пузом, а кто и грудничком на руках, – покачивала головой мать. – Все эти бабы бежали, ревели за составом до тех пор, пока, обессилив, не валились на насыпь. А некоторые из немцев в вагонах тоже плакали.

Что здесь добавить? Было и такое…

Вот и в рассказе показано, как пробиваются робкие ростки странной дружбы мальчишки и доходяги пленного, оказавшегося музыкантом. Случайно увидев, как тот что-то выводит прутиком на песке, зачёркивает и снова рисует, и узнав, что Ганс композитор, а это нотные знаки, мальчишка дарит тому свою тетрадь и карандаш. Радость несказанная. Видно, что этот музыкант по природе своей созидатель, человек в высшей степени безобидный и нисколько не приспособленный ни к военным лишениям, ни к плену. И в таких условиях ему просто не выжить. Но подарок мальчика даёт доходяге силы, и у того появляется лучик надежды, что когда-то можно будет вернуться в мир любви и солнца…

Однако есть еще начальник охраны лейтенант Гущ. Автор пишет: «Его не любили и побаивались. Кто-то дал Гущу странную кличку: «Тётя-дядя». Работницы посмеивались: «Ишь, Тётя-дядя идёт, буркалы как у борова», «Да в ём, бабы, от мужика только одне штаны!».

Этот-то солдафон до мозга костей и сыграл свою неприглядную роль при погрузке военнопленных в кузов машины перед поездкой в карьер за песком.

«Однажды, когда Ганс уже перебросил тощую ногу через борт, из-под мундира вывалилась мятая тетрадка. Лейтенант Гущ поднял её, развернул и стал с удивлением разглядывать.

Ганс с мольбой протянул к нему руки:

– Господин офицерен. Это есть мой хефт, я сочинял мюзик.

Тётя-дядя свирепо глянул на него:

– Музыку сочинил? Ах, мать твою так! Ото ж, паскуды, кормять их, от народа отрывають… А ну давай, нечего филонить!

«Студебеккер» рывком взял с места. Гущ, тужась, краснея лицом, разорвал тетрадку на мелкие кусочки и долго топтал их сапогами».

Спустя два дня юный герой опять пришёл на завод. «Было душно, гудели пчёлы, ранние черешни уже стали розоветь». Казалось бы, весна, пробуждение всего и вся к жизни, однако еще на проходной мальчишка почувствовал что-то неладное и, хотя до обеда было далеко, но люди толпились во дворе и переговаривались:

«– А что случилось-то?

– Та кто их знае? Хриц шо ли убёг?

– Не убёг. В нужнике удавился.

– Иди ты!

– Ну? Хворый был. Тощой такой, в очках. Кашлял всё.

– Отчего он себя порешил?

– Тосковал, видать. Человек всё же.

– Нашёл кого жалеть, они нас не очень-то жалели».

От услышанного мальчишка растерялся и не помня себя побрёл со двора. По дороге ему попался клочок бумаги, и это оказался разорванный листок из той самой тетради в клеточку.

Меня как читателя такое окончание рассказа резануло по душе. Это же какую немыслимую гамму чувств пережил малец! И точно уж не по годам повзрослел.

«Компонист» – произведение не линейное, небольшое по объёму, оно богато образами и художественными смыслами, будоражит душу обнажённой правдивостью, заставляет переживать за героев, соглашаться или не принимать их поступки и намерения. Одно, и немаловажное направление сюжета, а именно – тёплые отношения русского мальчика и пленного немца, невольно и опосредованно напомнило мне и о тех не вполне понятных, я даже скажу больше, гнусных к русской памяти явлениях, что в последние десятилетия нет-нет, да и вбрасываются в наше общество и сознание: про сердечность и чуть ли не отеческую заботу оккупантов, про их якобы поголовное миролюбие и непревзойдённую эстетику, а вот-де советские граждане – в лучшем случае лапотники, грубые и неотёсанные… Да, попадались у нас и такие, живой пример Тётя-дядя, но однако же в берлинском Трептов-парке стоит памятник нашему советскому солдату со спасённой немецкой девочкой на руках, а не монумент какому-нибудь Фрицу с русским ребёнком на руках в Сталинграде. Хотя, если не дать по зубам этим перевёртышам и

Алексей ТАТАРИНОВ

Расколотая глубина

О новой книге Олега Мороза

Юрий Козлов и Олег Мороз – идеальная встреча писателя и литературоведа. Что сближает и даже роднит? Герметичность повествования, отказ от чувственных катарсисов, ставка на интеллектуальную двойственность события. Духовно-политический концептуализм, пребывание на дальних рубежах смысла, в облегченной форме это можно назвать – подтекстами третьего или четвертого уровней. Уважение к мысли как главному ресурсу повествования. Судьба России здесь лейтмотив, но без четкого соотнесения с тем или иным сформированным флангом – отказ от официальных эпосов и систематизаций, от «неопатриотизма» или «либерализма». Выбор поэтики неочевидных сюжетов. Роман должен быть сложным! А научное слово о нём – ещё сложнее!

Восторг структурирования сюжетов современной власти, её амбивалентной харизмы и апокалипсисов – это Козлов. Восторг усложнения созданной структуры, её контекстуального разъяснения, и власть над художественным текстом – это восторг Мороза. Оба далеки от мысли понравиться читателю, бежать в солнечном пространстве за числом потенциальных собеседников, добежать до массовой культуры. Ставку на одиночество мастера словесности, на обреченность не быть услышанным и понятым нахожу и у Козлова, и у Мороза. Как бы не совсем роман – это Юрий Вильямович. Не только литературоведение – это Олег Николаевич.

«Писательство – это существование на границе миров, на границе, где реальный и виртуальный миры действуют, разом и сообща, и порознь; *пограничное существование*, заостряющее – до боли – парадоксальное ощущение *расколотой полноты* человеческого бытия. Но ещё – и способ существования, выступающий проекцией сознания писателя и его отношений с действительностью и самим собой», – лишь одна цитата из рецензируемой монографии. Почувствуйте стиль!

Постмодернист ли Юрий Козлов? Христианин ли он? Борец с гностицизмом или сам гностик? Историософ или специалист-технолог политических сюжетов? Олег Мороз идёт к однозначным ответам: не постмодернист, христианин, разоблачитель гностических атак, философ истории, конечно, в литературный форме. Вот только добирается до этих ответов такими сложными, извилистыми путями, так честно и много выдает информации о противоречиях, что вопросы никуда не исчезают даже тогда, когда вроде бы итоги подведены. И постепенно подходишь к версии о русском постмодернисте, видишь, что его христианство слишком теоретично и не очень нуждается в присутствии Иисуса. А взаимодействие с гностиками так масштабно, что уже и не знаешь: воюет с ними автор или перекликается. Историософия? – Она у Соловьева и Бердяева, Проханова, Быкова и даже у Пелевина с Сорокиным, у Шарова с Крусановым. В принципе, согласен с Морозом, когда он делает историософию («историософские аспекты») ключевым словом своей книги. Однако в процессе чтения выплывают уже из моего воспринимающего сознания иные определения: апокалиптика, мифопоэтика сюжетов власти, художественная конспирология. Или отчет ревизора-интеллектуала, нагрянувшего с проверкой к высшему российскому чиновничеству, способного выстраивать связи между Сталиным и смертью, Гитлером и будущими правителями.

В этой двойственности (борешься с тем, что крепко сидит в тебе самом) один из главных законов прозы Козлова. Мороз готов работать со всей парадигмой его текстов. Но на первом плане оказываются четыре. Роман «Колодец пророков», повесть «Белая Буква». В меньшей степени роман «Враждебный портной», тут глава длится всего 15 страниц. И роман «Новый вор», повествование о котором занимает 78 страниц и, как мне кажется, является сильнейшим участком книги.

Основа постмодернизма даже не в том, что мир – это текст (об этом напоминает Олег Николаевич), а в ином: прекрасно понимая неотменимую *реальность реальности*, текст начинает претендовать на *«надцатый»* её уровень. Текст стремится вроде как факультативное (нечто с дальних берегов) рассматривать как главное событие – не фабулы жизни, а пространства самой речи. Именно поэтому уже во «Введении» Юрий Козлов (пусть у него и не мир-текст, как считает Мороз) оказывается одновременно возле Данте и Павича. А «Божественная Комедия» и «Хазарский словарь» предстают примерами «абсолютного текста», имплицитного для литературы *священного писания*, притязающего на решение ключевых вопросов. С одной стороны, герои козловских романов, повестей и рассказов одержимы обретением «абсолютного текста». С другой, сами произведения Козлова (прежде всего, в интерпретации Мороза) приближаются к всеразъясняющему «абсолютному тексту». Постмодернизмом это называть совсем необязательно, да вот контакты с ним – налицо.

Действительно, о циничных гностиках автором «Колодца пророков» и «Нового вора» сказано прилично, с сарказмом противника, а не соратника. Вместе с тем гностицизм не только в отождествлении дьявола с материей, в пылающей мечте о последней катастрофе телесного мироздания. Гностицизм в разных сферах творческой и научной гуманитаристики – это отказ от простоты, от старой доброй эпической фабульности и простосюжетности ради дерзкой виртуализации сюжета, сложнейших риторических формул и неочевидных, субъективных интерпретаций. Ради построения мощных и при этом не слишком обязательных контекстов, размывающих понятное *тело* повествования. К чему это я? А к тому, что в моем восприятии Юрий Козлов все-таки гностический писатель, не имеющей ни малейшего отношения к художественному воспроизведению природы, повседневной жизни, пьянящей *нормальности* человеческого естества. И к тому, что Олег Мороз – литературовед неогностического пафоса, с верой в конструктивную силу парадоксальной интерпретации и необходимость катарсиса, который удаляется от древних, классических, дионисийских чувств к высокой *платоновской* рациональности, к идейности и полноте мировоззренческой речи.

С этим тесно связан иной вопрос: почему Козлова читают относительно мало и не издают в монстрах-монополистах, в АСТ и ЭКСМО? Мороз, думаю, учитывает присутствие этого вопроса. «Ассоциативно-метафорическая ажурность тяжеловесной сюжетно-композиционной структуры романа», – сказано им о поэтике «Нового вора». Здесь сразу двойная тяжесть, и она действительно есть: «метафорическая ажурность» и тяжелая структура. Кстати, книга Мороза вышеприведенной аттестации полностью соответствует.

Теперь о главном – и о методе Юрия Козлова, и об устройстве российской власти. В первой главе, посвященной роману «Колодец пророков», Олег Мороз справедливо подчеркивает, что генерал Толстой содействует приближению царства Антихриста и одновременно не допускает его воцарения. Что это за движение? Третья глава – о повести «Белая Буква». Здесь много интересного (иногда уже и не поймешь – Козловым или увеличивающим глубину Морозом) сказано о феномене российской власти как «радости через силу». В мыслях писателя Объёмова Ленин, Сталин, как-то особо настойчиво Гитлер и тоталитарные вожди апокалиптического толка, и лики многозначной Смерти, которая заставляет человека (прежде всего, Чиновника) постоянно ощущать временность своих безобразий и ощущать вполне религиозную ответственность за содеянное.

В четвертой главе (она о «Новом воре») Олег Мороз подробно, не экономя слов, представляет важнейшую из картин прозы Козлова – аналитический портрет чиновничества. Здесь нет никакого оптимизма по поводу усиления российского присутствия в решении проблем 21 столетия. Господин Чиновник находится в поистине уникальной ситуации: он категорически не любит Россию вместе со всеми её архетипами, и значительно лучше относится к Западу с его комфортом и расслабляющим либерализмом; но тот же чиновник вынужден не только защищать Россию, но как бы сливаться, отождествляться с ней, потому что здесь хранится вся его собственность, всё заработанное и награбленное. Более того, сама Россия вместе со всеми своими архетипами стала собственностью «нового вора» (символическая фигура